

Село Афонино зажато между узенькой речкой Сухарюшкой, грязноватым прудом Гумняха, раньше на той стороне гумна были у крестьян, и широкой старицей Афонино же с двумя рукавами, Большим и Малым омутами. Афонино потому, что первым человеком, которого на новом месте увидели вологодские переселенцы, был рыбак Афоня, одиноко живший в вырытой в крутом берегу землянке. Правда, в новые времена некоторые краеведы пытались связать имя с великим Афоном, но то пустое. Сама старица больше по форме походит на озеро, да так в народе и зовется, а омуты оправдывают свое название: глубокие, без единой лопушки или балаболки, не говоря о камышах. Малый узкий, до тридцати метров шириной, а Большой размахнулся, от края до края не доплыть, если на ветер, а в конце хитренько увильнул в узкое прямое русло с названием Прорва.

Старики говорили, что в давние времена каждую весну приходила большая вода, где-то далеко скапливал свои воды Ишим, сдер-

живался льдом, частыми мостами, а потом вырывался на волю и диканился, разбойничал: мосты сносил, камыши вырывал с корнем, прибрежные кусты срезал острой льдиной, и все это несло вниз, пугая и гоня впереди себя все живое. Сказывают, что стая волков добежала до высокого берега и полдня отлеживалась, мужики хотели пострелять, да пожалели, уж больно худые и жалкие были звери, к тому же волчицы беременны. Зато большая вода вычищала старицы и озерки, приносила рыбу и обновляла местных обленившихся щук, карасей и прочую мелочь.

На крайней улице с названием Голая Грива (выгорала она в старые времена) жил Павел Матвеевич Мендилев, по-деревенски Мендиль, со своей женой Ефросиньей Михайловной. Колька был совсем маленьким, когда отец Максим Петрович брал его с собой к Мендиловым слушать радио. В большой и чистой избе, прямо под иконами, в переднем углу стоял большой красивый ящик на тумбочке и назывался «Родина-52». Из него пели сестры Федоровы,

смешили Штепсель с Тарапунькой, величаво и торжественно звучал ансамбль песни и пляски Советской Армии. В одно и то же время раздавался приятный, но чужой голос, который объявлял: «Говорит Пекин. Начинаем передачу для советских радиослушателей». А после того, как Русланова отчебучила свои знаменитые «Валенки» или какую другую задорную песню, дед Павел кивал жене, и она выставляла кринку устоявшейся бражки.

Потом Колька узнал, что бабушка Ефросинья, а по-простому – Апросинья, – родная сестра дедушки Петра Михайловича, потому отец зовет ее теткой. Колька помнил из того времени, что дед Павел всегда вынимал ему из шкафа пряник или конфетку. А бабушка этого не делала, если деда не было дома. Отец объяснил потом, что Апроха с дедом Петром были самые скупые из всей семьи, даже родитель их Михаил Игнатьевич за это осуждал и дивился, в кого пошли.

Летом Колька видел у соседнего с деда Мендиля дома бородастого угрюмого старика с толстой палкой. Отец здоровался с ним, а старик ни разу не поднял головы.

У деда Павла была небольшая ловкая лодочка, с нее он ставил сети на мели Большого омута, фитили в камышах Мыска и морды, большие плетеные круглые кораба. Когда подросток, Колька в свободные дни просил у деда ключ от замка, которым лодка прикована к столбу, весло брал с вечера, чтобы утром не беспокоить хозяев, и прятал в траве на берегу, рано утром лодку отковывал и тихонько уплывал под крутой берег Малого омута.

Белесый туман мягкими охапками еще перекатывался по зер-

кальной воде, но солнце уже вставало, промокший в траве и камышах Колька начинал обсыхать, а согрелся, пока греб к своему любимому месту. Сразу поймал двух чебачков, размотал толстую леску с толстого удилица, которое называется крюком, и на большой крючок под спинной плавник насадил живцов. Крюка закинул по разные стороны лодки и стал ловить на удочку чебачков и окуней, поглядывая на массивные поплавки крюков. Когда поплавок крюка сбулькал, нырнув в глубину и в сторону, Колько понял, что это щука, мгновение потерпел и дернул подсечку. Щука ударилась о днище лодки, он вынул крючок и переломил щуке лен – так рыба остается мягкой.

Потом, когда Колька учился уже в седьмом классе, отец, проходя мимо обросшего и молчаливого старика, сказал ему:

– Это Трушников Демьян, он в восстание коммунистов и комсомольцев казнил.

Колька удивился:

– Комсомольцы были уже при советской власти, как он мог их казнить?

Максим Павлович огрызнулся:

– Сказано тебе: восстание против советской власти. В двадцать первом, мне десять годов было. Вот он и был тут зачинщиком.

– А почему он в живых остался? Товарищ Сталин не давал пощады врагам народа, – уверенно возразил Колька.

– Ну, ты шибко-то не выступай. Сталина тогда еще не было, был Ленин.

– Тем более! – стоял на своем Колька.

– Потом пришла Красная Армия и всех бандитов разогнала.

Главарей арестовали и судили в городе. Трушникову дали двадцать пять лет, он долго скрывался, где был и что делал – не знаю, а в доме его сродственники жили, примерли к тому времени, дом заколотили, вот, сохранился. Тут он и живет.

Колька не мог понять, почему среди простых советских людей живет бандит, пусть отсидел свой срок, но был враг, врагом и остается. Он уже боялся проходить рядом с сидящим дедом, а на велосипеде проскакивал по противоположной стороне улицы. Дедушка Мендиль спросил однажды:

- Ты соседа-то нашего видел?
- Видел, – кивнул Колька.
- Отец про него тебе рассказы-вал?
- Ага, говорил.
- А ты его не боишься? – улыбнулся дедушка.

Колька смутился:

– Ну, не то, чтобы боюсь, а все равно страшно, раз он убивал.

Дед Мендиль засмеялся густым приятным смехом:

– Колька, дак и я убивал, раз на войне был. И отец твой тоже, не зря ему фашисты ногу отстрелили.

Колька возразил:

– Не отстрелили, а осколок по-

пал, потом заражение крови, вот и отпластнули по самое колено.

– Я что про Трушникова-то начал. Он тебя давно заметил, хочет поговорить.

Колька вздрогнул:

– О чем?

– Откуда мне знать? Может, про школу что спросит. А может, на рыбалку позовет.

Колька сразу ответил, что на рыбалку он с бандитом не поедет, а если тот просит, то подойдет.

В тот же день и подошел, поздоровался.

– Присаживайся на скамейку, в ногах правды нет. Боишься меня? Наплели тебе люди про мои зверства, так?

Колька помялся, но вынужден был кивнуть.

– Ты в каком классе?

– В седьмом.

– А годов сколько?

– Пятнадцатый.

Дед Трушников кивнул:

– Моему сыну тоже было пятнадцать, когда его убили.

Колька молчал, да и что сказать? Но Трушников уточнил:

– Коммунисты убили. Пришли хлеб забирать, а меня дома не было, по делам уезжал. Вот в этой ограде...

\* \* \*

Отряд продрозверстки прибыл в Афонино накануне вечером, прошел слух, что в соседней Пелевиной пятерых мужиков связали и увезли милиционеры, а хлеб выгребают до зернышка. В отряде том русских почти нет, все поволжские инородцы, кроме матерков никаких слов не знают. Еще «хлеб», «убью» и «баба нада», за бабу, сказывают, три пудовки зерна оставляют. Ночевали в совете,

полночи пили самогонку, председатель всех, кто приторговывал, объехал, с матерками конфисковал в пользу пролетариата. Ребята эти, говорят, набраны были в глухих деревнях, от голода пухли, потому что неурожай третий год, а власти сказали, что хлеб у сибирских кулаков припрятан, надо поехать и под силой оружия этот хлеб и другие продукты забрать и накормить свои семьи. Вот они и старались.

Тактике их научили при контроле губернского продовольственного комиссара Гирши Самуиловича Инденбаума. Прибываете в село, там должен быть ссыпной пункт для зерна, если крестьяне добровольно выполняют задание по разверстке. Сразу в совет, старший берет списки злостных уклонистов, скрывающих хлеб от пролетариата, совет дает две или три подводы с хлебными ящиками на саях, и поехали. Ворота, конечно, для отряда не открыты, потому приходится бить в калитку прикладом винтовки. Обычно выходит сам хозяин, спрашивает, что надо. Присутствующий член совета достаёт папку, вырезанную из голенища кирзового сапога, находит в нем бумажку, в которой значится, что крестьянин этот сеял пшеницы пять десятин, при нынешнем урожае в сто с лишним пудов пятток кулей на первый случай у него взять можно. Плановое задание он выполнил с первых снопов, десять кулей пшеницы, три мешка овса и мешок проса.

А член совета головой качает, мол, что ты дурака валяешь, то задание – цветочки, губпродкомиссар товарищ Инденбаум довел новое задание, а если проще – забрать весь наличный хлеб, потому что сибирский крестьянин очень хитрый, он уже припрятал столько зерна, что хватит и прожить, и – погляди весной: выйдет с лукошком сеять. Спроси, где семена взял, ведь все велено было сдать, а он усмехнется: «Бог дал!»

Хозяин из всех незваных гостей знает только члена совета, к нему обращается с пояснением, что хлебишко есть, но ведь семья, не токмо накормить, но одеть-обуть надо, да и инвентарь обновить кой-какой. Член совета, сам местный

крестьянин, все без слов понимает, но он знает больше своего земляка: не отдаст добром – заберут силой. Так и говорит напрямую, когда командир отряда чуть в сторонку отошел, а может, и специально дал им возможность перемолвиться. Иной мужик отворяет амбар: нагребайте, раз надо советскую власть спасать, раз Ленин на голодном пайке странной руководит. Тогда все мирно, мешки в ящик составили, от совета бумажка с печаткой, ни имя, ни отчества, а только цифра: 9 января 1921 года сдал в разверстку столько-то хлеба.

А иной заартачится: по какому такому праву, я поставки выполнил, никому ничего не обязан. Тут много от представителя совета зависит. Если ретивый и хочет верхним властям угодить, тут же дает команду сбивать замок с амбара, да не с одного, а со всех. У чухонцев ломы и кувалды, да и навозтрились уже ребята, главное – по пьяному делу напарнику по руке не угадать. Отщелкнулись замки, кинулся хозяин, а чуваш или татарин уважительной улыбкой ощерился, винтовку вперед выставил со штыком: подходи, дорогой. До штыка хватает запалу у мужика, а как железо прямо в пупок уперлось, трезвеет, холодным потом покрывается, крупной дрожью всего колотит, но смиряется, садится на крыльцо, жена выскочит, другую шапку наденет, первая вон в ногах у артельщиков валяется.

– А сына вашего за что убили? – несмело спросил Колька.

Трушников долго молчал, курил самокрутку, усы и борода пожелтели от табачного дыма, нечесаная шевелюра скрывает всю голову, на плечах лежит. Что и видит парнишка – нос ядреный и глаза, чистые и голубые.

– Вот за это самое и убили. Приехали с разверсткой, он дома за старшего, вышел, калитку открыл, те вроде кинулись, а он встал на пути, увидел знакомого от совета, говорит ему, что без отца во двор никого не пустит. Ну, ребята там были оторви да брось, вмиг мальчишку с ног сбили, советский вроде заступился, и ему в рыло, это его и спасло, я в живых оставил. Сынок к собаке, у меня овчарка кавказская была сторожевая. Чу-

\* \* \*

Он приехал глубокой ночью на тройке добрых коней, запряженных в легкие санки с кошевкой, ехал из Травнинской волости, где собирались мужики обсудить и понять, что же происходит с властью и как себя дальше вести. Пустое, ни о чем не договорились: жаловаться некому, местная власть глаза отводит, голытьба лютует: грабь награбленное! И грабят потихоньку. А сегодня уж продотряды по волостям поскакали, сказывают, что у них права, как у колчаковских карателей в недавние времена: чуть что – руки за спиной веревкой свяжут, а не доходит – в ствол винтовки заставят глянуть. Поневоле посмотришь, если к самому лбу... А потом и решай, отдашь коней и сам вместе с ними в отряд, или к стенке. Этим коней не надо, им зерно подавай, на уезд такое задание повесили, что вплоть до семенного выгреби по амбарам и сусекам – не закрыть цифру.

К дому подъехал и ахнул: ворота настежь! Выскочил из кошевки, скинув широкий тулуп, метнулся в ограду, а на крыльце брат с кумовьями курят, фонарь висит.

– Кто? Мать? – снизу вверх смотрит на родственников и видит

хонцы залопотали, один вскинул винтовку и убил собаку. Парнишка опять к воротам. Ну, верховой шашку выхватил, видно, служил в кавалерии, приходилось, устал парнишку. Тут народ сбежался, бригаду связали, увели в совет. Председатель перепуган, звонит в уезд, так, мол, и так, продотряд арестован, я сам под ружьем, срочно выезжайте. А я приехал раньше...

– нет, не старая мать, что чуток прихворнула. – Да не молчите же вы! Кто?

– Федя, – выдавил имя брат.

– Врешь! Как, говори, Касьян!

– Продотряд не пускал во двор, его какой-то басурман шашкой прямо с коня, голову развалил.

Демьян не вбежал – влетел на высокое крыльцо, через сенки и кухню и в раскрытые двери горницы увидел сына своего, лежащего на нестроганных досках, закинутых половиками, а лица не увидел, кинулся сорвать окровавленную тряпицу, да вовремя поймали:

– Нельзя тебе смотреть, Демьян, не следно.

Жена было бросилась к нему, ее тоже удержали. Его вывели во двор. Коней уже управили, санки затолкали под сарай. Демьян сел на нижнюю ступеньку крыльца, охватил чубастую голову руками. Потом словно очнулся:

– А сейчас они где, отряд этот?

– В совете. Наши ходили, смотрели: пьянствуют, Дыля и Маркуня с ними, потаскухи.

– Касьян, запряги мне Рыжего в санки, – сказал брату. – Сходи в дом, тихонько пройди в комнатку, где мы спим, над кроватью ружье,

под кроватью в подсумке патроны. Вынеси, чтобы никто не видел.

– Да как же, Демьян, люди сидят...

Демьян вскочил:

– А ты пронеси, заверни, в штаны спрячь, ужом проползи, но вынеси.

Сам пошел в избушку, положицу приподнял, развернул в промасленной тряпице револьвер, что с гражданской принес, горсть патронов в карман сунул. Под навесом нащупал бутылку с керосином, обернул холстиной, поставил в передок санок. Достал подготовленный черен для вил, веревкой примотал охапку льняной кудели, кинул в сани. Тронул вожжи:

– Мужики, если что – я приехал на зорьке, и вы все тут были, видели.

Мимо совета, который занял волостной дом, проехал шагом, заметил на крыльце человека, лампа горит в комнате. В конце улицы развернулся, остановил коня у крыльца, вышел из саней. Видит, что дремлет охрана.

– Эй, служивый!

Часовой очнулся:

– Цего хотела, гражданина?

– Продотряд ищу, я из уезда. Сказали, что арестовали вас.

– Отпустила совет. Спит отряд, сперва бабу мяли, теперь спят, винка много было.

Демьян смело поднялся на крыльцо, сильно ударил мужика ножом, которым скотину колот, тот и не смамкал. Спустился, взял бутылку и приготовленный факел, быстро с револьвером в правой руке и бутылку под мышкой про-

шел в большую комнату. Человек десять спят на кошме и тулупах, тут же и местные потаскухи. Осторожно перешагнул через тела до окон, облил их керосином, потом навалил бутылку, жидкость забулькала, он не стал ждать, приподнял посудину и вылил прямо на лежащих у входа. Плеснул на фитиль, вышел в сени, чиркнул спичку и вспыхнувшую куделю на черене кинул в комнату. Яркой вспышки не видел, накинул на клямку замок и провернул ключ. Выдернул забытый было нож из обмякшего тела часового, сел в кошевку и ждал. Пламя охватило всю комнату, стекла полопались, кто-то еще успел крикнуть, а дальше только гул огня и лай соседских собак.

Демьян шевельнул вожжи, конь шагом пошел вдоль улицы, оглянулся: горит совет, людей не видно. Подъехал к дому, брат подбежал, завел коня и шепнул:

– Иди в баню, разболокайся, обмойся, несет керосином сильно. Иди, я тебе всю одежду чистую принесу тихонько.

Демьян и сам понимал: все надо сжечь, вплоть до шапки и полушубка. В бане расшевелил угли, кинул белье, стеженье штаны и вязаную кофту, потом засунул полушубок, шапку и рукавицы. Долго мыл руки, тер песком, приняховался – вроде не пахнет. Хорошо промешал в печке, выгреб железные пуговицы и крючки, бросил под полук. Оделся, вышел – в морозном воздухе пахло свежестью, ветер уносил запах пожарища в другую сторону. Постоял, стал мерзнуть, пошел во двор, где жило его горе.

\* \* \*

Колька слушал, сжавшись в комок. Он боялся поверить, что все это действительно было в его

деревне, и дед Демьян – это тот самый человек, который заколол, как поросенка, часового, и сжег

заживо десяток человек из продотряда и двух гулящих – Дылю и Маркуню. Дед дымил своей самокруткой и молчал.

– Вас потом милиция нашла?

Дед Демьян хмыкнул:

– Как они найдут, если меня никто не видел? Ближе к обеду согнали народ, давай выпытывать. Понятно, меня в первую очередь, хотя я у гроба сына убиенного сидел – нет, пошли на допрос. Предъявляют, что у меня была причина, месть за сына, ответил, что причина была, да так и осталась, за сына кто-то должен ответить, а я приехал из Травнинской волости под утро, заехал в гостях, а тут уже одни головешки. Да мне и не до того, сын на смертном одре, а я бы побежал любопытствовать. Тому много свидетелей, все они у меня дома были и видели, когда я объявился.

– А дальше? – робко спросил Колька.

– На третий день сына предали земле, без отпевания, потому что попа отправили на Урал лес пилить, я оставил около жены и детишек малых теток своих, а сам ушел в избушку думу думать. Хлеб у меня выгребли до зернышка, в сусеке мышь повесилась с голоду, но припас у меня был, да и у всех хозяев был, потому что видели, куда власть правит. Но что совет умодил: собрали ребят и девок из школы, выдали им пики и отправили по домам схроны искать. Пришли и ко мне:

– Дядя Демьян, нам велено спрятанный хлеб искать. Если добровольно не сдадите, станем пиками протыкать и искать зерно.

– Откуда начнете, ребята? – спросил я.

Старшая отвечает:

– Чаще всего, как нас учили, зарывают хлеб под сеновалом или в пригоне.

Повел на сеновал, потом в пригон – нет ничего. Ну, не стану же я им объяснять, что хлеб прибрал еще по осени, сверху ямы потолок надежный, потом земля. Тычь прямо над ямкой – застыл грунт, ничем не взять. Пустое все это.

А на другой день новый отряд прискакал, опять поехали по дворам, правда, ко мне не подворачивали. Но слышу: там рев, в другом месте стрельба, к обеду мужики стали собираться у совета. Вышел вперед командир отряда, сказал прямо:

– Велено весь хлеб забрать, все мясо, а сегодня утром новый приказ: забирать на хранение под роспись семенное зерно. Так что, мужики, не сопротивляйтесь, решение это твердое.

– А нам чем жить?

Красный командир ответил:

– Перебьетесь. До весны на картошке, а там, как сказал губкомиссар товарищ Инденбаум, траву будете жрать, корешки рыть.

Выскочил один наш:

– Граждане, дак ведь это насмешка! Семенной хлеб отдать, а потом с кого спросишь? С тебя? – он ткнул пальцем на командира. – Или с них, иноверцев-нехристей? Нет, семена не отдавать ни под каким испугом. Без семян нам гибель.

Толпа кричит:

– Верно! Едовой забрали и отстаньте, семенной не дадим.

Командир выхватил револьвер и вверх пульнул:

– Ишь, как вы осмелели, что загубившего наших товарищей не нашли! А я вот сейчас возьму в заложники баб и ребятишек, сразу как миленькие станете.

Я долго терпел, а как он о ребятишках заговорил, у меня в голове помутилось.

– Это что, – говорю, – за власть такая, которая свой народ гонит на гибель и детей велит губить? Вот что я тебе скажу, командир: забирай своих ребят по добру-по здорову, да ехайте в уезд и скажите этому Бауму, что крестьяне костями лягут, но зорить хозяйство не допустят.

Командир вскочил на своего мерина, ярует, только опасается, как бы сзади не наскочили. Кричит:  
– Как твоя фамилия, говори!

\* \* \*

Вечером он зашел к брату и велел обойти кумовьев и сватов, кого крепко обидела советская власть, собрать их и решить, как быть дальше. Продразверстка не закончилась, завтра жди усиленный отряд, шутики шулками, но и пулеметы могут поставить на санки, а их зазя не возят. Мужики собрались быстро, ушли в столярку Архипа, Демьян печку растопил стружками и обрезками, буржуйка раскраснелась, заподрагивала, дала тепло. Мужики поскидали полушубки, сели кто где: на верстак, на лавку, на чурку, сбросив с нее недоделанную ножку к табуретке. Все чего-то ждали. Демьян понимал, что ему надо говорить, а с чего начать, никак не насмелится.

– Я на днях в Травной был, теть у меня там, их славно потрясли, обещали еще. Тамошние мужики говорят, что приезжал человек, навроде, из военных, науськивал, мол, если крестьяне выступят, то поддержка будет.

Агафон Плеханов переспросил:  
– Выступят – это как? Прискачет к нам завтра отряд, мы его, конечно, можем встретить у деревни, надо только перед тем коммунистов и советских повязать. Перебьем. И что? Через день уже из

– Трушников. Запомни. У нас с тобой встреча будет первой и последней.

– Это что, бунт? Да я вас завтра из пулеметов...

Кто-то изловчился и хлестнул его коня длинным кнутом, конь взвился, седок едва не свалился, выправился и крикнул:

– Отряд, рысью за мной!

– И все? – удивился Колька.

Дед Демьян хмыкнул:

– Да нет, началось все с этого...

пушек будут деревню долбить. И при Колчаке такое было.

Семен Золотухин высказался:

– Если сидеть и молчать, чем это кончится? Голодом и гибелью. Вот он давеча сказал слово бунт, командир продотряда. Они завтра уже едут бунт усмирять. Стало быть, повяжут, указать на крикунов есть кому, сволочи всегда были. А тебя, Демьян, точно подзревают в пожаре, кто-то видел твоего коня у совета, это мне кума сказала, она в совете счетоводом.

Демьян кивнул, мол, понятно. И сказал свое мнение:

– Если мы у деревни или в деревне кого-то из власти грохнем, а потом скроемся, то семьи-то тут останутся. На бабах наших, на стариках и детках отоспятся и разверстка, и милиция, и вся родная советская власть.

– У вас выходит, что и в телегу не легу, и пешком не пойду, – развел руками Яша Моргунок. – Первое: сопротивляться не моги, будь что будет. Что будет – дураку понятно. Другое: бить нельзя, отомстят. И к чему мы приехали?

– Вот что я думаю, – откликнулся Демьян. – Бить их у родного порога не надо, и мы никого не



троне. Но мы должны сегодня же ночью уйти в ту же Травную, там нас никто не знает, там можно поквитаться с разверсткой и махнуть в другую волость. А к нам отправим травнинских, с них какой спрос? Главное, что семьям нашим предъявить нечего. Где мужья? А хрен их знает, может, зверей гоняют или пьянствуют на заимке.

Мужики заговорили, в предложении Демьяна Трушникова был резон, семьи помурывают и оставят, а отряд будет перемещаться из села в село, наводя порядок, уничтожая врагов народа, активных коммунистов и комсомольцев, новых учителей и избачей, а также и милиционеров.

— А лежбище все равно надо где-то делать, — напомнил Агафон Плеханов. — На заимках нельзя, след укажет, где искать. В деревне — заметно.

— В камышах, — подсказал Моргунук. — На Гнилом болоте такие заросли, что только на лыжах. Я там ондатру ловлю и иного зверя, ходы есть, только надо глубоко забираться, чтобы даже костра не было видно. Из камыша можно шибко теплый шалаш сделать да снегом обвалить — с костром не замерзнем.

Кто-то засмеялся, что в шалаше сидеть не будешь, воевать надо. Семен Золотухин заговорил тихо про то, что поднимутся две-три волости, сколько-то мы побегаем от села к селу, на свою задницу грехов насобираем, а остальные? Ведь если не встанет вся губерния, вся Россия, нас просто выкурят из болота к весне и освежат. Вот в чем вопрос. Себе на приговор мы в двух-трех волостях наскребем, а делу-то поможем ли? Тут надо бы глубже глядеть, ведь кулак поднимаем не против разверстки, а супротив государства. Эта чух-

ня не сама по себе приехала, их власть направила, Ленин, а он шутить не умеет, царская семья во главе с государем Николаем Александровичем — не нам чета, однако дал команду, и всех к стенке, даже детей не пожалели.

Трушников разозлился:

— Знаем, Семен Захарович, что ты мужик грамотный и начитанный, а мы серые и пегие перед тобой. Дак научи! Что утре делать? Хлеб-соль на рушнике выносить этому нехристю, который сына моего порешил? Баб своих вечером им на утеху вести? Али не так? Да так и будет! И корни рыть, и траву жрать станем по весне, как учит товарищ Баум.

Золотухин встал, отряхнул стеганные брюки от опилок, поклонился хозяину и пошел к дверям. У дверей повернулся:

— Не обессудьте, мужики, но в бандиты я не пойду. Все отдам, но останусь дома. Если надумаете — слова никому не скажу. Прощайте.

Демьян вскочил:

— Вот так-то оно лучше будет. Вы как хотите, а я как знаю, на зорьке подамся в Травную. Ночь впереди, думайте. То, что я выложил, самое подходящее, и делу поможем, и дома сохраним. А теперь расходимся. Кто не выедет на зорьке — язык зажмите. Даже домашние мои и ваши знать не могут, нельзя. Винтовки у каждого есть, патроны тоже, а нет, так добудем. Горбушка хлеба и шмат сала, фляжка самогонки на всякий случай. Никого не агитирую. Жизнь прижмет — сами найдете нашу артелку.

— Той ночью я двух добрых коней оседлал, хлеба и сала в подсумок кинул, но больше патронов к винтовке и револьверу. Даже жене ничего не сказал, мол, поедем с мужиками волков погоняем.

Конечно, она по мне видела, что не на такого зверя я собрался, но слова не сказала, перекрестила, на колени пала: «Пусть тебя охранит Пресвятая Богородица!» Я в седло и поскакал на выезд, там уже трое. Погарцевали, дождались еще троих. Молча рысью в сторону Травной. Только в село въехали, двое сзади и спереди тоже с ружьями: «Стой, кто такие?» Я по голосу свата своего узнал: «Кирилл Прокопьевич, пошто так гостей встре-

чаешь?» Смотрю, стволы вниз, и мы спешились. «Ждем гостей, обещали седнешним днем все сусеки подмести, сошлись мы и решили, что этих кончим, а там видно будет. Свои-то все связаны, в совете под охраной сидят».

Демьян перевел дух, Колька воспользовался:

– Получается, что они решили разверстку убить и ждать, как и ваши хотели?

– Точно так и решили...

\* \* \*

Демьян свата в сторонку отвел и про свой план кратко сказал. Не надо у родного дома гадить, за семьи страшно, а разметаться по уезду и бить коммуну там, где никто не знает, кто прискакал и навел порядки. Это смятенье будет у власти, зачнет мозгами шевелить, как утрясти раздрай с крестьянством.

Сват со своими скучковались, человек пять сразу откололись, остальные до дому, собраться основательно. Демьян успел спросить у свата, кто в охране в совете, есть ли знакомые. Назвал он двоих мужиков, известных ему, договорились встретиться на этом же месте и поскакали. Верно, дверь совета на крючке, Демьян постучал, голос:

– Кто такой?

– Михей, это Демьян Трушников, отворяй.

Вошли, двое на лавках спят, полушубками укрылись.

– Сколько у тебя под охраной?

– Семь человек.

– Чем провинились перед народом?

– Дак коммунисты, актив – бай бужи! Обещали коммуну построить, – Михей хохотнул.

– Что решили с ними делать?

– Не знаю, наше дело – чтоб не сбегли.

– Слушая меня, Михей, вам не с руки о своих земляков руки марать, приказ Кирилла Прокопьевича: быстро домой, все патроны и порох собрать, родным ни слова: на охоту едем, и все дела. Охраняемых я у тебя принимаю. Понял?

– Как не понять!

– Через полчаса на выезде в сторону Афониной.

Закрыв за ребятами дверь на крючок, своим велел винтовки приготовить, сам револьвер достал. Задвижку дверную дернули, фонарем осветили комнату. Двое спят, пятеро сидят, руки связаны. Велел разбудить спящих. Те с трудом встали и тоже сели на лавки. Трушников разглядел девичье лицо.

– Ты кто такая?

– Учительница. Приехала учить детей.

– А в церковной школе разве плохо учили?

– Конечно, плохо. Закон Божий, Псалтырь? Кому это надо?

«Как она резко говорит, или не понимает ничего?» – изумился Демьян и спросил: – Ты комсомолка?

– Конечно.

– Отрекись от комсомола, и я тебя отпущу. (А ведь и вправду отпущу, если отречется).

Девушка хотела встать, но, оказывается, и ноги связаны.

– Я никогда не отрекусь от комсомола, от идеи коммуны, – четко сказала она.

– А если я тебя за это расстреляю?

– Стреляйте. Но помните: коммуна непобедима, и за меня вам отомстят.

Демьян поднял револьвер и вы-

стрелил ей прямо в лоб. Остальных стреляли из винтовок, одного раненого Демьян добил из револьвера.

– Пусть все так и остается. Обождите.

Он свернул газету и разлившейся по полу кровью написал на белой стене: «За разверстку. Рысь». Когда выходили, брат спросил:

– Рысь-то тут при чем?

Демьян, опьяненный побоищем, улыбнулся:

– Я буду Рысь. И везде стану расписываться, даже на спине самого Баума, если доведется.

\* \* \*

Жаркий до зноя июль. Полуоткрытую створку окна длинным кнутовищем прямо из ходка подвигает колхозный бригадир Горлов. Но по фамилии его никто не зовет, Иван первым из послевоенного села служил на флоте и получил прозвище Моряк. Иван-Моряк. Он не обижался, а напротив, гордился, даже в глаза так звали – без обид.

– Марья, буди Кольку, сена метать начинаем.

Полусонный Колька пьет свою кружку молока, выбегает на улицу. Такие же полусонные друзья тянутся к избе Ивана Сергеича, он запрягает Пегуху в ходок, подходят женщины и девчонки постарше. Ребятишки – копновозы, парни – кладельщики, девчонки подскребальщицы. Иван Сергеич будет метальщик, кого-то еще в пару возьмет.

Рабочий день измеряется не часами – стожками сметанными. Опытные мужики вдвоем ставят шесть стогов, зимой приедут бабы, у каждой пара коней с широкими санями, разочнут стог и станут укладывать на сани, да чтоб не раз-

валился дорогой. Колька знал всех этих женщин, они жили рядом, в Цыганском таборе, так этот уголок назывался, да еще на соседней улице, имя которой Колька боялся вслух произносить. Прозвали ее Мертвой улкой, потому что раньше покойников после отпевания в церкви несли на кладбище по этой улице. Как-то он спросил отца:

– Папка, а почему Фандорины Анна с Ниной, три сестры Глотовых одни живут, без мужиков, без ребят?

Отец покашлял, про себя удивился, что сын такие вопросы задает, но ответил:

– Дак ведь война была, ихние женихи там полегли.

– А почему они зимой и летом на конях работают? Это же тяжело.

– Потому, Колька, что застучаться за них некому.

Сенокос – работа артельная, веселая, девчонки с грабельцами песни поют, а Ивану Сергеичу с Антоном Николаичем не до песен, они чуть не пляшут вокруг стога, меча тяжелые навильники сухого сена под цепкие грабли вершильщицы. Три копновоза не успевают

обеспечивать их работой, Иван Сергеич матерится, велит кладельщикам на девок шары не пялить и копны укладывать плотнее.

– Уминать их, что ли? – огрызается паренек.

– Уминай. Слови вон Гальку Софьи Аверьяновны, да и помнитесь.

– Я тебя, учитель хренов, граблями-то зацеплю да отбуцкаю как следует!

Забыл метальщик, что у него на стогу стоит сама Софья Аверьяновна. Повинился, а кладельщику показал огромный кулачище.

Когда солнце над головой, Иван Сергеич втыкает вилы, чтобы конь или человек нечаянно не напоролись, то же велит и кладельщикам: перерыв, в такую жару ни люди, ни кони не выдерживают. Гнус заедает коней, виснет роем на нижней губе и в промежности, кони тычутся мордой в сено, бьют ногами. В перерыв копновозы отцепляют волокуши, скидают хому-

ты и скачут наперегонки к Мараю или к Темному, и кони в предвкушении купания аж запоржачивают. Недолго длится удовольствие, свист Ивана Сергеича, как у Соловья-Разбойника, далеко слышать. Значит, надо возвращаться. Ребятишкам нальют большую чашку мясного супа и дадут по ломтю хорошего хлеба. Полежать не дают, вон уж Иван Сергеич торжественно воткнул вилы в плотный слой сросшихся десятилетиями корней разных луговых трав: тут быть стогу.

И опять все по кругу. У Кольки к вечеру начинает болеть голова, а то и кровь пойдет носом. Ничего, чуток полежит на спине, кровь присохнет, и опять берет за узду Гнедого, ведет в поводу, сидеть уже нету сил.

А домой едут на двух ходках, мужики накуриться не могут, весь день без табака, девки шушукаются, а бабы начинают песню:

*Виновата ли я, виновата ли я,  
Виновата ли я, что люблю?  
Виновата ли я, что мой голос дрожал,  
Когда пела я песню ему?*

Кольке больше всего нравились частушки, бабы пели их поочередно, а кто-то выстукивал ритм деревянной ложкой на доньшке подержанного ведра:

*Вот и думай думушку:  
Оставил свою девушку.  
Сам поехал воевать,  
Её оставил горевать.*

*Мы с подругой сиротинки,  
Наши дрочечки в бою.  
Проливают кровь горячую  
За Родину свою.*

А потом неожиданно вырвется озорное:

*Ты подружка дорогая,  
Ты меня не предавай,  
Буду сыпать из нагана,  
Ты патроны подавай!*

Колька ждал дождя, тогда отменят сенометку, и он пойдет к деду Демьяну. Странно, но он и сам не заметил, что перестал бояться этого угрюмого старика с глухим сильным голосом, даже осмелел и задавал вопросы, на которые дед терпеливо отвечал.

– Копны возишь? – не здороваюсь, спросил дед Демьян. – Я при единоличной жизни шибко любил сенокос, а малым когда был, тоже копны возил. Все так же было, хоть и шестьдесят лет прошло, ничего нового коммунисты не придумали, все на пупу. Нарушили жизнь, сволочи.

Колька притих: впервые дед так отозвался о власти.

– Дальше будешь слушать или боишься? Страшное стану говорить, новой раз даже вздрогну: а со мной ли было этакое? А потом смирюсь: со мной, и все помню до нитки, как вчерась было.

Он свернул толстую самокрутку из газеты, засыпал крупно рубленым самосадам, подпалил, бумага вспыхнула, он на неедохнул, усмирил и крепко затянулся. Рой мух, обитавших около скамейки, сразу исчез. Колька колупал палочкой сырую землю и доставал дождевых червей, палочкой их раздваивал, и обе половинки уползали в разные стороны.

– Зачем ты их порвал? Пропадут теперь. Вот тоже тварь, а жить хочет.

Он опять затянулся, воткнул окурочок в протухшее под дождями и солнцем толстое бревно, смачно сплюнул в сторону:

– Ну, кончили мы с тобой большевичков в Травной, и поскакали в Лебедевскую, уже по свету. Догоняем кошевку, и сидит в ней купец Бырдин, жил большим домом в Травной, а магазины держал во всей округе. Я его знаю, он меня нет. Велю кучеру остановиться.

– В чем дело, мужики? Я с семейством еду в гости.

А у самого сзади кошевки сундуки привязаны, друг на дружке.

– Зачем же ты в гости столько сменного белья взял? – спрашиваю.

А он достает револьвер и командует:

– Уступите дорогу, разбойники, а то стрелять начну.

Конечно, мои ребята со смеху покатались. Говорю ему:

– Бырдин, отдай золотишко, живым отпустим.

Баба его кричит:

– Христофор, отдай все, что просят, не то погубят они нас.

– Чего не хватало! – возится в медвежьей шубе купец. – Нажито годами, и отдай неведомо за что.

Отвечаю ему:

– За жизнь свою собачью, за бабу твою и детишек. – А сам вижу – кучер уже к лесу подкрадывается, бежать хочет. Кивнул я парню, тот прицелился, кучер завалился. Лошади от выстрела вспрыгнули, но наш хлопец уже держал под уздцы. Бырдин пыхтит:

– Нету золота, могу бумажные рубли отдать.

Я велел коней распрячь и к своим приторочить, двое парней купца из тулупа вытряхнули, и сумочка выпала. Братан мой Архип кинулся к ней, а Бырдин, сволочь, выстрелил. Наповал братца. Я весь свой револьвер разрядил в купца и семейство его.

– И в детей? – ужаснулся Колька.

– И в них тоже. Тело брата в санки, в деревне за хороший куш попрошу похоронить. К Лебедевской подходим, надо бы узнать, какая там обстановка, вдруг продотряд пришел? Спросили в крайних избах, говорят, есть гости, но свои, из соседних деревень. Мы ближе к совету, а там человек пятьдесят.

Увидали нас, шапками машут, зовут. Подъехали, выходит вперед молодой человек:

– Я командир сводного отряда повстанцев трех волостей. А вы кто будете?

«Что за повстанцы такие?» – думаю, и спрашиваю:

– А за какую вы власть? Я вот белых повязок на шапках еще не встречал.

Командир отвечает:

– Мы за народную власть, только без коммунистов. А сейчас ждем продотряд, чтобы проучить. Белые повязки, чтобы друг друга не пострелять. Вступаете в наш отряд?

Мне интересно, совсем юноша, а командир, да и в себе уверен, на лицо красивый, такой, что лучше бы ему девкой родиться. Спрашиваю:

– А ты чей, откуда?

– Отвечаю: Григорий Атаманов, из села Смирновского, слыхал о таком? Так вступаете в наш отряд?

Отзываю своих ребят, спрашиваю, что делать будем. А они в голос просят растолковать, какой нам смысл семерым вваливаться в эту кучу, они будут в открытый бой вступать, а нам это надо?

И вот тогда я понял, что мы будем просто бандитами, разбойниками, там крепкого мужичка пощекотаем, там купчишку, попутно и коммунистов станем прибирать. Подъехал я к Атаманову и все разъяснил, что мы пойдем своей дорогой, все равно враг у нас один, но в отряд не вступаем, чтобы близко к родным гнездам не оказаться. Так что, командир, имей в виду: мы с вами, только чуть в стороне. На том и расстались.

Понятно, что не все время смертоубивством занимались, находили глухую деревню, где ни

бандитов, ни милиционеров, заходили в дом, что поболее да поприветливее, значит, у хозяина есть чем угостить, и отдыхали от трудов своих неправедных по целой неделе. Тут тебе и самогонка, и бабы, ну, тебе это не надо знать, и мясо горой, и стряпня румяная. Умели мужики спрятать от басурман, иначе бы с голоду пропали. Конечно, караул стоял днем и ночью, у меня наказ был строгий: прихвачу сонного или нетрезвого – пеняй на себя, сам до стенки доведу, сам и шлепну.

Вот стал я думать тогда, а что же есть человек? Отчего из-за куска хлеба цельный народ на дыбы поставили? Почто стреляешь в русского же человека, и никакой жалости в душе нет, а ведь вся и разница, что он когда-то поддался на уговоры и подписал гумагу в партию. Убежденных, таких, как та комсомолка, мало встречал, все больше в ноги падали да пощады просили. Таких и убивать противно. Но попадались отдельные – оборони Бог! Знает, что живым из избы не выйти, а он про мировую революцию, про свободную жизнь, про сплошное братство. Слушаешь, и вдруг ловишь себя на том, что если он еще с полчаса попроповедует, то ты не только его отпустишь, но и сам в ихнюю коммуну вступишь всем наличным составом.

Конечно, хозяев отблагодаришь, золотые монеты из купеческой сумочки в дело шли, но кто и откуда – об этом накрепко запретил ребятам даже заикаться.

Ранним утром выехали мы из деревни, у каждого в пристяжке добрый конь запасной, глядим: впереди на горке конный отряд, да не рвань приволжская, а красивые кавалеристы. То ли кто сообщил про наше гарцевание, но это

специально надо ехать до большого села Истошного, оттуда телефонная связь была, а где мы проходили, там столбы спиливали, провода сматывали и в снег прятали. Эту линию не вдруг восстановишь. Что делать? Разворачиваем коней и обратно в деревню. Выгоняем на улицу мужиков и баб, ребят, стариков, велью выкатывать сани и телеги, бороны и плуги – все, что ни на есть во дворах. Мужики сани на телегу громоздят, и спрашивают:

– Скажи, мил человек, у кого пуля слаще, нам ведь один хрен погибать?

Я им отвечаю:

– Не тронут вас, вы под насилем, городите скорей, они в полутора верстах были, хорошо, что нас не заметили, ровной рысью идут.

Перегородили всю улицу, ни одному коню не перемахнуть, а сами в седла, и ходу. Деревня маленькая, всего одна улочка, а в обход – никак, коню по брюхо. Не знаю, долго ли, коротко ли они разбирали, только мы ушли далеко, еще одну деревню бесшабашно галопом проскочили, достав из-за пазухи вторые шапки, с красной лентой, чтобы с толку сбить. В деревне никого. Мы в следующую, да не дорогой, а санным следом, накатан наст. Отправил разведку, тот вернулся, говорит, с неделю был продотряд, теперь никого. Смело заходим, выбираем дом, хозяин ворота отпирает, овес коням сыплет. Один в охранение, остальные за стол, пельменей ведерный чугунок хозяйка поставила на шесток, три больших блюда выловила. Едим, пьем. И вдруг – выстрелы. Кто? Вылетаю на крыльцо, а пулька – щелк в косяк. Обложили нас. А ведь белый день. Часовой наш лежит мордой в снегу. Я в избушку перебежал, там оконце низкое, смотреть

удобно. Одного увидел, другого: да это же коммунары из волостного села, кто-то им сообщил. У меня от сердца отлегло: ладно, что не солдаты. А посреди двора воз сена стоит на санях. Зову хозяина, ребяташек, баб домашних, расчет такой: поджигаю воз, он хорошо возьмется, отворяю ворота и выталкиваем воз в улицу. Дым как раз в сторону нападающих, чем мы и воспользуемся. Так и сделали, выпихнули воз, сами в седла и ходу.

Вот тогда вспомнили про Гнилое болото, надо очухаться, прийти в себя. Поскакали, догнали троих мужиков верхом, спросили, какая власть в их деревне.

– Да никакой власти нету, хлеб забрали, мясо с вешалов снимали, кур, и тех зарубили.

– Шерсть надо, а шерсти нет, бабы опряли с осени. Велят полшубки и тулупы стричь. Стригли, а кого делать?

– Яйца курицы прямо в корчагах погрузили в сани. Бабы ревут: ведь пропадут же! Отвечают: пусть лучше выбросим, чем вам жировать.

Спрашиваю, а в волостном селе кто есть? Говорят, сам Атаманов с большим отрядом. Интересно мне стало, кивнул ребятам: давай в гости к старому знакомому. Влетаем в село, а трое с винтовками из сугроба:

– Стой! Стрелять буду!

Остановились, все объяснили, ребята указали на дом, где командир остановился. Предупреждают:

– У нас порядок такой, к Атаманову обращаться «гражданин командир!» или пуще того: «гражданин командующий!», но это в основном для начальников помельче.

Меня одного пропустили, ребята пошли обедать, каша с мясом

прямо во дворе на костре варится, чай горячий. Я заметил: хорошее у бойцов настроение, значит, наше дело побеждает.

Вошел я, сидят трое, Атаманов меня сразу узнал, улыбнулся. Я еще раз подивился его красоте: русый, лицо прямое, чистое, нос скромный, глаза серые, внимательные, прямо в душу заглядывают.

– Ты в тот раз не назвался...

– Демьян Трушников буду.

– Чем занимались этот месяц?

В одном месте продотряд сожгли, в другом актив постреляли. По многим деревням прошлись, везде Рысь расписалась, мне сообщали. Коммуну в Будыньском сожгли, полсотни человек разом. Были там?

– Признаюсь. Но я просил женщин и детей оставить, а там – не поверишь: глаза у людей кровью наливаются, люто ненавидят коммуну. А отчего? Да потому что власть чуть не в задницу коммунаров тех целовала, деньги валили, трактор, электростанцию дали. Дошло до того, что коммунары робить не стали, а крестьян местных нанимали. Потому и возненавидел народ, общим сходом решили все семья вывести коммунарское. Я сам после того пожара три ночи спать не мог.

Атаманов кивнул:

– Да, много жестокости, чересчур много. Но порой и сам вижу, что ненавистью горят глаза ребят. А ты вроде все правильно делаешь, но не это главное. Наша задача – взять станцию Ишим, перерезать

путь хлебным эшелонам на Москву, хватит кормить сибирским хлебом мировое жидовство.

– Они что – еще похуже коммунистов?

Атаманов улыбнулся:

– Да почти одно и то же. Примыкай к нам, завтра идем на Ишим, возьмем станцию, тогда даже красноармейцы не скоро нас достанут. На сотню километров пути разрушим, и куманькам крышка. Голодный пролетарий в столице выбросит Ленина вместе с Совнаркомом, народную власть изберем. Пойдешь?

Я в тот момент грызть какую-то в душе учуял: вот человек видит большую цель, для народа старается, чтобы власть правильная была, а я бродяжу, граблю, убиваю. Совесть мне сделалась, и я ему ответил:

– Гражданин командующий, вступаю в твое войско, пойду с тобой на Ишим!

– Молодец! – Атаманов обнял меня. – Ты еще вчера был бандитом, разбойником, сегодня ты повстанец, боец Ишимской народной армии.

– Позволь, гражданин командующий, повстанец – это кто? А куманьки?

– Куманьками ребята коммунистов называли, так и приросло. А повстанцы – те, кто восстал против насилия и беззакония, кто за народ восстал, и имя тому – повстанец. Объясни своим. Извини, мы завтрашнюю операцию обсуждаем.

\* \* \*

Колька слушал со страхом и любопытством. Отец рассказывал ему про восстание, как бандиты казнили коммунистов и комсо-

мольцев. В совете сидел суд из своих же мужиков, хозяев крепких, из холодной по одному заводили связанных арестованных.



Некоторые молча выслушивали приговор, один и тот же, который густым басом грозно читал местный дьяк, иные искали глазами защиту и, уцепившись за соломинку, кричали:

— Кум, заступись за меня, поручись, мы же с тобой детей вместе крестили, обещались повенчать, как подрастут. Кум!

Кум напустил на себя суровость и ответил грубо:

— Все! Шабаш! Свадьба отменяется. Согласен к казни!

Мужика в коридоре били кувалдой по голове и, оглушенного, толкали с высокого крыльца, с которого выломали резные перила, толкали вниз, а там двое, взявшись oberучь за пешню, надевали на железо обмякшее тело. Тут же подбегали подручные, снимали бедного с пешни и оттаскивали в сторону. Девчонку-комсомолку приговорили к жуткой казни. Ефим Чирей, только что пришедший с лесоповала за изнасилование, ухватил ее поперек тела, прижал, потрогал груди, но мужики цыкнули:

— Отвянь! Елдач, забирай девку да привяжи за ноги к хомутным тяжам, а сам на вершну, покатай ее по улицам, пусть содрогнутся, кто еще надеется на коммуноу.

Через полчаса истерзанный труп девчонки Елдач привез к совету, подручные, прихотывая, нарочно распахивали края рваной одежды, чтобы оголить вожделенное. Кто-то из стариков оттолкнул их и накинул на тело мешковину.

Суд длился до обеда, набили телами угол в ограде, потом заставили подручных засыпать свежим снегом кровь, а тела перенести в бывшую конюшню. После обеда судьи и палачи напились в доску, топя в самогоне страх перед людьми и Богом. Наутро всех

мужиков от восемнадцати до пятидесяти лет мобилизовали, и они уехали в соседнюю волость, где формировался отряд. Отцу было тогда десять лет, он видел казни своими глазами, и еще помнит, что никто из бандитов в село не вернулся.

Колька после этого долго боялся проходить около сельсовета, хотя не было уже высокого крыльца, его сломали, а вход на второй этаж прорубили с другой стороны по внутренней лестнице. Однажды он целый день провел с матерью в сельсовете, была ее очередь дежурить исполнителем в выходной день. Она сидела у телефона, и, если кто-то из районного начальства звонил и просил пригласить к аппарату кого-то из местных начальников, они с мамой быстрым шагом спешили к его дому, а если он был пьян, то говорили, что уехал осматривать поля. Там, наверное, уже знали, в чем дело, потому что в поля отправлял подгулявших начальников каждый исполнитель. Колька представлял, что он сидит сейчас на том же месте, где сидел Ефим Чирей или дьяк церковный, а перед ним проходили незнакомые люди и так же молча уходили на крыльцо умирать. За что? Что они сделали такого, что свои деревенские казнили лютой смертью? Колька чувствовал, что между людьми могут быть какие-то другие отношения, кроме родства, кумовства и дружбы, и они такие сильные, что все остальные сразу становятся ничем. Когда он спросил об этом отца, тот выругался и не велел про такое думать, а то с ума сойдешь, и будешь, как Ньюра-дура, ходить по деревне с горстью голых веток, матерщинные частушки петь и кукаркать.

Демьяна с ребятами передали в группу передового наступления. Проверили винтовки и револьверы, почти у всех были, расположились на полу вместе с другими повстанцами. Разговоров нет, каждый понимал, что бой будет непростой, надо прорваться через шеренги красноармейцев, плотно охвативших все подходы к станции, а это непросто, разведка выяснила: на каждой улице установлены пулеметы. Младший из его команды, племянник Никифор, шепнул на ухо:

– Дядя, я боюсь, убьют меня в том бою.

Демьян ответил:

– А ты не бойся, Только пулеметы обходи, в переулочек какой нырни, тем спасешься. – И обнял племянника, как родного сына. – Спи, благословясь.

Потемну всех подняли, никакой еды на случай, если ранят. Построились в оgrade, человек пятьдесят.

– Повстанцы! – тихонько командовал травнинский казачок Лагунин. – Наша группа ударная, заходим с севера, прямо на станцию. Не думаю, что куманьки нас там ждут. До города тихой рысью, пшел!

Чуть стало светать, сильно похолодало, Лагунин все медлил, ждал начала атаки с юга. Наконец послышались выстрелы, и весь отряд рванулся вперед. Одновременно взревели несколько паровозов, и деревенские лошади закидались в испуге. С водонапорной башни ударил пулемет, но наугад. Перескочив через железную дорогу, отряд вытянулся в цепь и скакал вдоль путей. Издалека ухнуло орудие, и снаряд разорвался позади цепи, зацепив

несколько лошадей. Впереди обозначились станционные постройки, которые вмиг оцетинились винтовочным огнем, несколько человек вывалились из седел.

– Вперед! – взревел Лагунин и выхватил шашку. Пуля чуть не снесла с Демьяна шапку, сдвинула на затылок, промелькнуло: «Значит, не смерть!» Сбил одного солдата с крыши, надо бы спешиться, да коней куда девать? Выкатился из седла, присел под забором, чтобы пулемет высмотреть. Ага, вот он ударил очередь, обнаружился, ящиками для угля обставился. Демьян прицелился и чуть выше той точки, из которой вылетали огоньки, – выстрелил, потом еще раз. Ящики развалились, два солдата сползли на них.

– Ребята, пулемет я накрыл, можно вперед! – крикнул Демьян и вскочил в седло. Поскакали цепью, а навстречу красная конница. Демьян вынул револьвер, расстрелял все патроны, а шашки нет, да и была бы – много ли толку, если видишь в первый раз? Лагутин влетел в самую гущу конников, лихо работал шашкой, сколько-то человек вышиб из седел, только и сам не ушел, крепкий мужик в легком полушубке налетел сбоку и снес буйную Лагутинскую головушку. Демьян понял, что еще мгновение, и будет поздно, крикнул:

– Братцы, уходим! – Развернул коня, пригнулся, поскакал вдоль путей. Уйдя за полверсты, огляделся: то там, то тут, в разных местах тычутся всадники, не знают, куда податься. Он выстрелил в воздух, и уже через минуту собрались неудачники. Никифора среди них не было, как не было и других деревенских товарищей.

– Что будем делать, мужики? А что центральный отряд? Слышно?

– Нет, не стреляют.

– Может, взяли станцию? Давай вокруг города.

На той стороне так же сиротливо стояли вышедшие из боя.

– А где остальные? Атаманов где?

– Они нарвались на пулеметы у базарной площади, сунулись в переулки, а потом Атаманов понял, что окружают, и дал приказ прорываться. Они вышли Ларихинской дорогой.

К Демьяну подъехал бородастый мужик, он вчера видел его в избе:

– Я здесь по случаю оказался, сам тобольский, черти понесли рыбой поторговать. Вот и вляпался. Я вижу, ты мужик дерзкий, да и без друзей остался. Я собираюсь домой, пошли со мной на Север, если хочешь? Тут, судя по всему, больше делать нечего.

Демьян кивнул: согласен. В первой же деревне подъехали к большому дому, стукнули в калитку. Голос хозяина:

– Кто такие?

– Открывай, так гостей не встречают.

– А я гостей не жду.

Демьян сорвался:

– Если ты еще слово скажешь, я тебя через калитку пристрелю. Отворяй! И овса поставь коням.

Вошли, как домой, скинули полушубки, сказали только, что жрать хотят. Бабы забежали, вынося сковороды и жаровни, налили по блюду горячих щей. Хозяин чуть осмелел:

– Что там в городе за стрельба? Не слышали?

– Нет, мы с другой стороны, – ответил бородастый.

Хозяин хмыкнул, но больше не приставал. Незваные гости встали, поблагодарили, попросили в дорогу буханку хлеба и кусок сала. Бабы хотели угодить и завернуть в тряпицу отваренную курицу, но Демьян отвел рукой угощение: замерзнет на морозе, ни к чему.

Остатки овса Демьян ссыпал в один мешок и примотнул к седлу. Тронулись.

\* \* \*

В тот день в селе случилось большое горе, утонула на Афонином озере Колькина одноклассница Лида Аникина. Сначала девчонки подняли крик, потом кто-то из парней тут оказался, нырнул, где она купалась, – не нашел, несколько раз нырял – бесполезно. Сгоняли машину на луга, привезли мужиков, невод принесли. Отец вместе с мужиками, а с матерью медичка отваживается, уколы ставит. Та уж и реветь перестала, только стонет. На лодке подальше отплыли, одно крыло невода запустили, к ниж-

нему поводку железяк привязали, чтобы по дну шел, стали тянуть. Страшные минуты. Колька стоял рядом с дедом Минделем и дрожал всем телом. Дед и сказал, что на его веку никто на Афонином не тонул, на омутах было, а тут без греха. Вытянули невод, в матице рыба всякая, а Лиды нет. Второй раз поплыли, третий. Мужики собрались кучкой, тихонько разговаривают.

– Зацепило бы ее, если невод над ней прошел.

– А может, она убежала куда, никому не сказала.

– Да брось ты ерунду пороть, тут платьишко ее лежало. Куда она голяком?

И тут Колька увидел, что с крутого берега спускается дед Демьян. Палку около дома оставил, босиком, штаны широкие, и рубаху навывпуск ветер раздувает. Подошел молча, ни с кем ничего, даже на соседа не взглянул, лишь Кольку потрепал по стриженной голове. Мужики замолчали.

– Где тянули? – спросил дед Демьян.

– Тут и тянули, где утопла.

– Пройдите вон под той ракитиной, да ближе к берегу держитесь.

Старший из мужиков Иван Сергеевич спросил недоверчиво:

– Все говорят, что она вот тут плавала, тут и пропала. А ракитина сто метров в сторону.

Дед Демьян ничего не ответил, развернулся и стал подниматься в гору.

– И что будем делать? Этот По-встанец может нас и на Прорву послать.

– В самом деле, при чем тут ракита?

Дед Мендиль вмешался:

– Протяните там тонь, надо же что-то делать. А Демьян себе на уме, может, и прав.

Сгрузили невод в лодку, поплыли к раките, запустили с большим запасом, трое по берегу тянут, чтобы крыло прямо на виду шло, двое гребут, двое повод держат. Прошли под самой ракитой, с лодки кто-то крикнул:

– Мужики, тяжело пошло.

Стали грести сильнее, эти на суше чуть приотстали, лодка сделала округлый разворот и направилась к берегу. На берегу парни перехватили шнур, и невод стал медленно выходить из воды, сначала крылья, потом матица,

несущая скорбный груз. Женщины бросились с простыней в руках, обернули девушку, положили на влажный песок. Привели мать, отец тут же стоял на коленях, братьев и сестер прогнали подальше, чтобы не видели и не боялись потом. Отец на руках вынес дочь на берег, положил на раскинутое в ходке одеяло и тронул поводья. Бабы собрали всю рыбу и побросали в воду.

Колька вместе с дедом Минделем пошел в улицу и остановился около сидящего Демьяна Трушников. Тот молча курил, пуская клубы ядреного дыма. Колька сел рядом и тоже молчал.

– Достали? – спросил дед.

– Достали. А как вы догадались, что Лидку под ракитой искать надо?

Дед раздавил на бревне окуроч и ответил:

– Я не догадался, я знал.

– Откуда? – изумился Колька.

– Откуда? – переспросил Трушников. – Я же не всегда таким старым был, а в твои годы сильно любил плавать. Бывало, только чуть свет, я на озеро, благо, что рядом. А как на работу ехать, отец меня крикнет. Нырлял до самого дна, по дну ходил, брал в руки пудовую гирию с лодки и опускался. Там много чего интересного. И однажды почувствовал я течение, не особо сильное, но тащит. И я поплыл. Вынырнул, гляну, наберу воздуха и опять в глыбь. Чувствую – кружить вода начинает, я наверх, а на берегу старая ракита, над водой нависла и большую площадь от людей закрыла. Держусь, а вода кружит, и под самым берегом даже воронку видно. Я не стал судьбу пытаться, а когда вернулся из лагерей, вспомнил детство, рано утром пошел на

озеро, поплыл. Думал, разучился за эти годы – нет, плыву уверенно, потом нырнул, да глубоко, и опять на знакомое течение попал. К самой ракитине подплывать не стал, старая-то упала в воду и сгнила, а новая точно такая же. И воронку успел увидеть. Вот и сказал мужикам, раз на месте девчонки нет.

– Дедушка Демьян, откуда в нашем озере течение? Это же не река и не океан.

Старки хмыкнул:

– То надо ученым людям разбираться, а я мыслю еще с тех времен, что в Малом омуте воде тесно, если ветер в ту сторону, вот

она низом и уходит обратно. Девчонка эта чья?

– Аникиных Лида. Отличница в школе была.

Трушников долго молчал. Колька подумал, что он сына вспомнил, а может, тех малых деток, которых пострелял в санках купца. Или были в его жизни и другие случаи, когда приходилось убивать детей. И Кольке вдруг стало страшно, он встал, сказал деду:

– Пойду я, дедушка Демьян.

– Иди. И помни: сразу за лопушками нырять нельзя, течение там проходит, метра три в глубину. И другим передай. А к ракитине не лезь, опасное это дело. Не лезь!

\* \* \*

Демьян сразу смекнул, что новый знакомый, назвался Харитонном, еще почище его будет, мимо деревни не проедет, чтобы в пару домов не заскочить, а если еще какие коммуняки остались – заставит хозяев сходить домой и загаркать коммуниста во двор. А сам в калитке стоит с винтовкой. Окна по самые наличники таким куржаком заросли, что из дома не увидишь, добрый человек или нет. Харитон только спросит:

– Ты пошто ночью на партийное собранье не явился? Поди, к бандитам подался, на них надежа?

Мужик смутится, засуетится:

– Да вы об чем? Какое собранье, у нас и членов-то осталось только трое, остальные погинули да в отряды обороны ушли.

Харитон радуется:

– А кто еще двое? Трое, говоришь, осталось, два-то где?

Мужик смеется:

– Да где им быть в такую пору? Дома. Никто нас в последнее время не беспокоил, так что мы дома

обитаем.

Харитон велит идти в улицу и показать дома партийных, тот охотно выскакивает и тычет в два дома чуть дальше по другой стороне.

– Благодарю за услугу.

Харитон чуть поднимает винтовку и нажимает курок. Мужик удивленно падает, баба уже на крыльце, визжит. Идут к тем домам, вышедшего на стук хозяина Харитон стреляет прямо на крыльце, Демьян видит, что второй сосед в одном полушубке без шапки бежит огородом, проваливаясь в проломившийся наст. Хотел убить, но что-то удержало, потом хотел Харитону сказать, тот бы не упустил, но опять передумал. Харитон спросил, где живет самый крепкий мужик, ему показали.

– Пошли, пощекотаем, кое-что у него должно быть.

Демьян понял, что он уже ведомый, как бычок на бойню, не командир. Вошли в дом, хозяин, здоровый мужчина лет сорока, баба из горницы выглядывает,

ребятишки пробегают мимо дверей, чтобы из-за материной спины гостей увидеть.

– Так, хозяин, мы повстанцы, воюем с коммунистами за власть трудового народа. Надо поддерживать.

– Чем? – коротко спросил хозяин.

– Золотишком, деньгами, можа, драгоценности какие есть, – порассуждал Харитон.

– Есть. Все есть понемногу, ведь жить собирались. Только интересно вы за народную власть воюете, с самим же народом.

Харитон вздрогнул:

– Это как понимать?

– Вот сейчас двух мужиков порешили. Да, они в партию записались, уболтал их секретарь, мол, поддержка будет членам-то, а у них семеро по лавкам. До вас был отряд бандитский...

– Повстанцев! – поправил Харитон.

– Да, так их командир Атаманов вник и этих мужиков от казни освободил, а вы грохнули. Выходит, у вас все сами по себе, нет ни знамя, ни родины, одна винтовка.

Харитон позеленел:

– Да ты, сволочь просоветская, где таким речам обучился? Сам-то не куманек, часом, не партийный?

Мужик ответил смело:

– Нет, не член. А понимать жизнь научился на фронтах германской и гражданской. Агриппина, неси свою шкатулку с барахлом и деньги в сундуке достань все, чтобы ребятам не проверять. Вот, берите.

Харитон взял, передал Демьяну, а мужику скомандовал:

– Выходи на крыльцо!

Демьян толкнул его локтем:

– Довольно! Поехали.

– Нет, я его тут не оставлю, это враг грамотный и опасный. Пошли.

Демьян бросил шкатулку и сверток на конопель, вышел впереди всех, потрогал револьвер в кармане. В доме уже выли, как по покойнику, а хозяин шел гордо, не опуская головы. Спустились с крыльца.

– Куда мне вставать? – спросил хозяин.

– Стой, где стоишь, – улыбнулся Харитон и сдернул с плеча винтовку. Демьян сбоку почти в упор выстрелил ему в ухо. Хозяин присел от неожиданности, потом повернулся к Демьяну:

– Теперь моя очередь?

– Оттащи его под сарай, да собаку убери, будет выть по покойнику. Как стемнеет, загрузи и вывези, куда сам найдешь нужным. А мне разреши сутки отдохнуть, едва на ногах держусь. Как тебя называть?

– Мирон. Обожди, я домашних успокою.

Сбежал, быстро спустился, Харитона уволокли на задний двор, жена с ведрами к колодцу, хозяин берем дров унес в баню. Демьян попросился Мирона приготовить к бане нательное белье и рубаху, обовшивел за это время, не столько от грязи, сколько от дум разных. Обоих хозяев предупредил: если кто спросит про выстрел, то стреляли кабанчика, зарезать пришлось.

В баню на всякий случай взял револьвер, Мирон заметил, улыбнулся. Крепко попарился Демьян, давно не было такой доброй баньки. Обсох, переоделся, прямо в избушку хозяйка принесла блюдо горячих пельменей, графин с водкой и студень. Нетронутый белый

калач, на поду печенный, чуть слезу не выдавил из Демьяна: жена его тоже славные калачи печет. Спал до следующего вечера, собрался, вошел в дом, поблагодарил, жена Мирона на колени перед ним встала, он поднял за плечи:

– Живите. Мирон, придут красивые, а они обязательно придут, покажешь им этого мерзавца. Скажешь, что сам убил, а револьвер утопил, патроны кончились. Если

бандиты – ссылайся на Атаманова, он у них главный. Ну, не поминайте лихом.

Мирон проводил до ворот, на второго коня мешок овса закинул, крепко пожал руку:

– А ты теперь в какую сторону?

– Подамся на север, там свободней. До Вагая сколько верст?

– Тридцать.

– Прощай.

– Прощай и ты. С Богом!

\* \* \*

Колька слушал, разинув рот, а когда дед Демьян замолчал, спросил:

– Почему вы Харитона убили? Он же вроде свой?

Демьян улыбнулся, только усы пошевелились.

– Время было такое, что не знаешь, кто свой, кто чужой. А тут что-то во мне переменялось.

– А дальше? Вы поехали один? А почему на север?

– Думал, что там войны нет, раз крестьян нет, одни рыбаки да охотники. Но получилось, что я из огня да в пламя, там тоже была разверстка, и не хуже, чем в наших краях.

Еду я смело, винтовку спрятал, револьвер наготове на всякий случай, и уже у самого Вагая выскакивают на меня трое из сугроба: «Стой, кто такой?» Говорю, что еду в Вагай по своим делам, хочу на лето в рыбацкую бригаду податься. «А ты не из охраны Инденбаума? Может, переделали да вперед пустили разведчика?» Отвечаю им, что слышал про этого Баума, но в глаза не видал, а если бы довелось, собственными руками бы задавил за то, как он галится над русским мужиком. Спрашивают: «Тебе тоже перепало?» Рассказал им про сына

и про свои подвиги вдали от дома. Тогда они говорят: «Оставайся с нами, нам надежный человек сообщил, что продкомиссар Инденбаум выехал на санках с охраной в десять человек в сторону Тобольска. Сидим вторые сутки, может, его холера увела другой дорогой, но нам передали, что покинул он Ишим, а из Ишима в Тобольск короче дороги нету». Посмотрел я на место это и говорю мужикам: «Ребята, тут нам их не взять, если их десять человек конников, да в санках с ним два-три». Поехали мы с одним парнем к тому месту, где дорога прямо по тайге проходит, поглянулся мне крутой поворот, говорю парню, что пилу надо. Он галопом в ближнюю деревню, вернулся с пилой. Тем временем и остальные к нам подтянулись. Я объяснил, что на повороте кучер коней придержит, а мы тем временем подпиленные деревья спереди и сзади роняем. Им некуда деваться, пока шур да бар, постреляем охрану, а самого Баума хотелось бы живьем взять, чтобы в глаза его бесстыжие глянуть и приговор прямо в харю проговорить.

Уже под вечер скачет наш человек, он за версту выдвинулся, говорит, идут колонной, конники впереди и конники сзади. Кто

в санках – не видел. Но должно быть он, больше некому. Сосны у нас подпилены, один человек столкнет, остальные встали цепочкой с одной стороны, чтобы своих не перестрелять, ждем. Вот выкатывает обоз, солдаты уже на поворот вышли, и одновременно падают две сосны. Кони в дыбы со страху, кучер вожжи натянул, но в сосну въехал. И пошла стрельба, солдатики валются, винтовки не успели с плеча сдернуть, а я к санкам. В кучера выстрелил, смотрю – один револьвер вынимает, стреляю ему в плечо и кричу: «Кто господин Инденбаум?» Он, похоже, даже обрадовался: «Я губернский продкомиссар Инденбаум». – «Вот ты мне и нужен», – говорю. Из кошевки его вынимаю, между глаз рукояткой ударил, чтобы не задурил, оружие при нем, само собой, есть. Одет аккуратно, в мундире, в ремнях, как ране царские офицеры. Поставил его на ноги, по щекам похлестал и говорю громким голосом: «За измывательство над крестьянином, за кровь и слезы нашего народа, за весь вред, который ты принес в наши края, от имени народа приговариваем тебя, Инденбаум, к расстрелу, хотя надо бы повесить, да времени нет». Выстрелил я ему прямо в лицо, а красивый был, сволочь. Тут ребята свою злобу выместили, шашками стали рубить. Я вынул из кармана полушубка уголек, крупно вывел на облучке санок «Рысь» и отвернулся.

Здесь мы с ребятами расстались, и я маханул дальше. Затеялся в рыбацкую бригаду, бабу завел, жил так почти пять лет. А

меня органы искали, потому что ни среди пленных, ни среди убитых не нашли, и дома нету. Нашли, кто-то состукал, что приبلудный живет, хватили, а у меня никаких документов. И поехал. В Ишиме опознали, дали сперва пятнадцать, потом еще десять.

– И что вы делали двадцать пять лет?

– Мне повезло, я лес валил, не в шахте. Все эти годы – как один день: подъем в пять, проверка, развод на работы, жратва и на лесосеку. Обед, перекур, и до вечера. Строем в лагерь, шмон, обыск, то есть, ужин – и в барак. А там карты, драки, убийства – все было. Освободился точно по часам, двадцать пять от звонка до звонка. Домой пришел – никого своих нет, дети в городе. Дом, правда, прибран. Вот живу.

– А люди, люди к вам как относятся?

– Никак. Своих деревенских я пальцем не тронул, а о похождениях моих только на суде что-то говорили. Люди боятся, а я не лезу, вот с твоим дедом Менделем иногда поговорим, и все.

Демьян Трушников полез в карман старого пиджака, вынул завязанную узелком тряпочку:

– Николай, ты мне за нынешнее лето стал как сын родной. В этом узелке десяток золотых монет царской чеканки. Прибери, когда в силу войдешь, сам сообразишь, куда их употребить. А теперь прощай, за мной завтра сын приедет, увезет в город. Мне не шибко охота, но тяжело стало одному. Помни меня как повстанца, а не как бандита. Прощай.